

АРХИВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
ОН ПРОСТО ЖДЕТ
СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ.

ТЕКСТ — ЭТО АДРЕС.
АДРЕС — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ.
РЕАЛЬНОСТЬ — ЭТО ВЛАСТЬ.

ПРОЕКТ
«РАЗВЕРТКА»
УРОВЕНЬ ДОПУСКА
ОМЕГА
КОД ОБЪЕКТА
А-7

КАЖДАЯ СТРОКА —
ЭТО ВХОД
В ДРУГУЮ ВЕРСИЮ
ТВОЕГО МИРА.

РАЗВЕРТКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ**

Кто контролирует текст прошлого —
контролирует реальность настоящего.

18+

Александр Цветков

Развёртка

«Автор»

2026

Цветков А.

Развёртка / А. Цветков — «Автор», 2026

Текст может быть не вымыслом, а адресом. После гибели на аномальной станции офицер Саша Северцев просыпается семь лет спустя в чужом теле и узнаёт о развёртке — технологии, которая открывает доступ к устойчивым ветвям реальности через книги, артефакты и человеческое сознание. Но за возможностью входить в другие миры скрывается куда более страшная угроза: если можно изменить описание событий, значит, можно переписать память, архивы и саму историю. А тот, кто контролирует прошлое, контролирует настоящее.

Содержание

Глава	5
Пролог	5
Чужое имя	5
Глава 1	11
Выпуск	11
Глава 2	17
Ночная станция	17
Глава 3	27
Я падал долго.	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Цветков

Развёртка

Глава

Пролог

Чужое имя

Адриан Керн писал роман на третьем этаже обычного жилого дома, и единственное, что мешало ему считать жизнь вполне сносной, — это всё остальное.

Мейрин был из тех городов, которые не пытаются понравиться.

Он не заигрывал с туристами старинными фасадами, не притворялся уютным и не выпячивал свою важность. Серые дома. Чистые улицы. Трамвай, приходящий почти по минутам. Невысокое небо, под которым даже весной свет казался прохладным. На горизонте — то ли облака, то ли горы. И люди, привыкшие жить рядом с вещами, которых лучше не трогать, если не понимаешь, как они устроены.

Под землёй, совсем недалеко, лежала одна из самых сложных машин человечества.

Наверху, на третьем этаже, Адриан Керн писал роман. Ночью — как и всегда.

Он учился на физико-математическом факультете Женевского университета, прилично держался на курсе, не пил лишнего, не лез в активизм, не спорил по пустякам и по меркам преподавателей считался перспективным молодым человеком с ясной головой и не самой приятной манерой задавать слишком точные вопросы. Всё это было правдой. Но главной своей работой он считал не учёбу.

Главной работой была книга.

Он писал её по ночам, когда в доме становилось тихо, а за окном изредка шуршали шины редких машин. Писал быстро, зло, увлечённо — так, будто давно знал, о чём хочет сказать, и просто ждал момента, когда слова начнут складываться без сопротивления. Это была не попытка стать писателем, не упражнение в тщеславии и не студенческая игра.

По крайней мере, так он себе это объяснял.

Иногда, под утро, когда текст шёл особенно чисто, Адриану начинало казаться, что он пишет не роман, а схему. Сложную. Красивую. Таковую, где персонажи, диалоги, чужая боль, выбор, предательство и страх — только внешняя форма для конструкции, лежащей глубже. Ему нравилось это ощущение. Оно было сродни хорошему математическому доказательству: когда ещё ничего не завершено, но ты уже понимаешь — решение существует.

Его отец сказал бы, что это опасная мысль.

Профессор Рихард Керн вообще не любил красивых мыслей, если за ними не стояли расчёты.

Он работал в CERN, занимался физикой высоких энергий и принадлежал к породе людей, которые привыкли смотреть на мир так, будто тот обязан подчиняться дисциплине ума. У него не было громкой известности, он редко мелькал на официальных фотографиях и почти никогда не говорил о работе дома. Но по тому, как ему иногда звонили поздно вечером, как он замолкал на полуслове, услышав некоторые фамилии, и как в его кабинете лежали папки без подписей, Адриан понимал: отец занимается не только тем, о чём принято писать в научных пресс-релизах.

У Рихарда Керна было два типа бумаг.

Первые — понятные. Статьи. Расчёты. Графики. Материалы к заседаниям. Рабочая рутина большого научного механизма.

Вторые были чужими даже на вид.

Листы без грифа и без шапки. Схемы, не похожие на стандартные инженерные. Формулы, в которых слишком часто встречались слова. Именно слова, а не обозначения. На полях — короткие записи, сделанные отцовским ровным почерком:

описание — не вторично

сложная модель стремится к устойчивости

наблюдатель необходим не только измерению, но и структуре

текст может быть не отражением, а контуром входа

И отдельно, обведённое карандашом, будто отец возвращался к этой строке несколько раз:

избыточно точное описание начинает требовать физики

Адриан прочитал это и отложил лист. Потом взял снова. Формулировка была неправильной с точки зрения любой науки, которую он знал. Но именно поэтому и не отпускала.

Он не спрашивал отца, что это значит.

Они с отцом вообще разговаривали так, как умеют разговаривать только люди, слишком похожие друг на друга. Осторожно. Сдержанно. Иногда резко. И всегда — на дистанции, внутри которой при этом было больше взаимного понимания, чем у большинства семейных пар.

Мать раньше сглаживала углы.

Потом мать умерла.

После этого дом стал другим.

Нет, он не опустел сразу. В реальности вообще мало что меняется резко. Чаще она сначала делает вид, что всё по-прежнему, и только потом, неделя за неделей, начинает отнимать мелочи, на которых всё держалось. Из кухни ушёл запах её духов и чая с травами. В гостиной стало слишком тихо. Книги на полках остались на месте, но уже не выглядели частью жизни — просто предметами. Даже свет по вечерам стал жёстче, будто лампы освещали квартиру не для людей, а для протокола.

Рихард ушёл в работу ещё глубже.

Адриан — в текст.

Это был их способ не сойти с ума и не обсуждать то, что обсуждать было уже поздно.

Иногда они ужинали вместе. Иногда спорили. Иногда просто сидели на кухне молча.

Один думал о формулах. Другой — о книге. И оба прекрасно понимали, что на самом деле занимаются одним и тем же: пытаются заставить мир объяснить себя.

Однажды отец сказал, не отрываясь от чашки:

— Писатели опаснее физиков.

Адриан усмехнулся:

— Это комплимент?

— Нет. Наблюдение. Физик, если честен, меняет представление о мире. Писатель — порядок внутри головы. Иногда это больнее.

— Ты так и не прочитал ни строчки.

— Потому и говорю.

Это был вполне нормальный разговор для их семьи.

Весной отец вернулся домой позже обычного.

За окном моросил дождь. На стекле дрожали редкие огни улицы. Адриан сидел на кухне с ноутбуком и правил финал. Роман почти сложился. Оставалось подтянуть несколько сцен и решить, насколько жестоким должен быть конец. Он уже почти знал ответ.

Отец вошёл, снял пальто, слишком долго возился с вешалкой и прошёл к столу.

— Поздно, — сказал Адриан.

— Бывает.

Рихард налил воды, но не выпил. Сел. Посмотрел куда-то мимо сына, будто видел не кухню, а всё ещё спорил с кем-то из тех, кто остался в институте.

— Совет? — спросил Адриан.

— Да.

— Плохо?

Отец помолчал.

— Они по-прежнему уверены, что любую модель достаточно уточнить, и она станет истинной.

— А ты так не считаешь?

Рихард посмотрел на него устало, почти с раздражением. Но не на сына — на сам вопрос.

— Я считаю, что некоторые модели слишком хорошо начинают вести себя как реальность. И это никому не нравится.

Адриан хотел ответить что-нибудь насмешливое. Что-нибудь про плохой философский роман. Не успел.

У отца дёрнулась рука.

Стакан выскользнул, ударился о плитку и разлетелся.

Адриан успел подумать: надо было купить нескользящий коврик. Ещё весной собирался.

Потом отец завалился набок, сбив стул, и эта посторонняя мысль про коврик исчезла, как будто её выключили.

Наверное, именно так и приходит настоящий ужас — не как удар, а как нарушение последовательности. Сначала мозг ещё пытается найти обычное объяснение. Давление. Усталость. Сердце. Таблетки. Что угодно, только не то слово, которое не хочется произносить даже мысленно.

Скорая приехала быстро.

Этого не хватило.

Потом были люди в форме. Документы. Вопросы, на которые Адриан отвечал чужим голосом. Потом кто-то накрыл отца простынёй. Потом в квартире стало тихо окончательно.

После похорон он почти не помнил следующие дни. Только фрагменты. Коридор университета. Чужое сочувствие, одинаковое до неприличия. Телефонные звонки. Бумаги по наследству. Кабинет отца, который он закрывал и открывал, но не мог заставить себя разобрать. И текст, в который он вцепился так, будто это была последняя вещь, ещё подчиняющаяся его воле.

Он дописал роман за месяц.

Писал, не разбирая суток. Спал по три-четыре часа. Пил кофе литрами. Несколько раз ловил себя на том, что перечитывает абзац и не понимает, когда успел его написать. Будто кто-то очень терпеливый давно шёл по этому пути и теперь просто подталкивал его в спину.

Когда он поставил последнюю точку, за окном вставало серое утро. Адриан сидел за столом и смотрел на экран с таким ощущением, словно финиш совпал не с победой, а с концом запаса воздуха. Но книга была закончена. И она получилась именно такой, какой он хотел. Умной. Холодной. Живой. Настоящей.

Так ему казалось.

Он распечатал рукопись, аккуратно уложил в папку и отнёс в небольшое, но модное издательство в Женеве. То самое, которое любило говорить о новых голосах, интеллектуальной прозе и смелых жанровых экспериментах.

Человека, принимавшего рукопись, звали Генрих Бреннер.

Он был не стар, хорошо одет, безупречно вежлив. Рукопись полистал быстро — но небрежности в его движениях не было. Напротив. Он читал слишком внимательно для обычного первичного приёма. Потом поднял глаза, и Адриан заметил, как тот чуть постукивает пальцем по столу — тихо, методично, будто считает про себя. Не нервно. Оценивающе.

Тогда Адриан решил, что Бреннер оценивает текст. Позже он поймёт: тот оценивал не только текст. Он прикидывал риски. Возраст автора. Отсутствие агента. Одиночество. Слабые места вокруг рукописи.

— Вы понимаете, что для вашего возраста это очень самоуверенный текст?

— Это недостаток?

— Это риск, — сказал Бреннер и улыбнулся. — Но риск — не всегда плохо.

Адриан вышел из издательства почти счастливым.

Отказ пришёл через три месяца.

Вежливый. Сухой. Никаких конкретных замечаний. Никаких зацепок. Просто текст не вписывается в текущую издательскую политику.

Он сначала разозлился. Потом решил, что, возможно, переоценил себя. Потом снова разозлился. Потом попытался забыть.

Это был не худший период его жизни, но очень показательный. Мир не ломал его одним ударом. Он делал хуже: каждый день снимал по тонкому слою и показывал, сколько на самом деле стоит талант без имени, связей, денег и свидетелей.

Учёба шла дальше. Дом становился всё тяжелее по расходам. Наследственные дела тянулись. Появились счета, которых раньше не было, и усталость, которой раньше тоже не было. Иногда он думал, что напишет вторую книгу. Иногда — что первую надо было сжечь сразу.

Осенью он увидел её в витрине.

Сначала обложку. Потом название. Потом — собственную фразу в аннотации.

Такие вещи узнаются сразу. Не глазами даже — чем-то более неприятным. Так человек узнаёт собственный голос, записанный и пущенный из чужого рта.

Адриан зашёл в магазин, взял книгу с полки и открыл. На третьей странице был его абзац. На семнадцатой — его сцена. На двадцать восьмой — его мысль, которую он когда-то переписывал пять раз, потому что искал единственно точную формулировку.

На обложке стояло имя:

Генрих Бреннер

Адриан купил книгу.

Дома прочитал её от начала до конца.

Бреннер оказался не вором в дешёвом смысле слова. Он не испортил текст бездарностью. Наоборот, это было самое оскорбительное. Он понял, что именно украл. Почистил пару шероховатостей. Подправил финал, сделав его чуть проще и продаваемее. Добавил одну лишнюю сцену — видимо, по рекомендации маркетинга. Всё остальное осталось тем же. Даже ритм.

Книга Адриана вышла в свет под чужим именем. И уже успевала становиться бестселлером.

Он шёл к Бреннеру не драться.

Это потом всё свели к скандалу молодого неуравновешенного автора. Но в тот день Адриан хотел разговора. Возможно, даже признания. Возможно, ему ещё казалось, что существуют слова, после которых человек способен хотя бы на стыд.

В кабинет его пустили.

Бреннер был без пиджака, в белой рубашке, с лицом человека, который уже научился жить в той версии реальности, где успех всегда выглядит заслуженным. Он выслушал Адриана спокойно. И всё время, пока тот говорил, тихо постукивал пальцем по столу.

Так же, как тогда. При первой встрече.

Адриан это заметил. И почему-то именно этот привычный механический жест — не слова, не интонация — оказался самым невыносимым.

— И что именно вы хотите? — спросил Бреннер.

— Чтобы вы сказали правду.

Бреннер почти улыбнулся.

— Молодость всегда переоценивает ценность правды. В вашем возрасте это прости-тельно.

— Это моя книга.

— Нет, — мягко сказал Бреннер. — Это книга, права на которую принадлежат издательству и автору, указанному в договоре. А вы — молодой человек, однажды принёсший рукопись без депонирования, без агента, без юридического сопровождения и без единого доказательства своей версии. Учтите ещё ваш эмоциональный фон. Потеря родителей. Стресс. Такие вещи всегда производят плохое впечатление в суде.

Слова были сказаны почти доброжелательно.

Наверное, именно это и добило.

— Вы её украли, — сказал Адриан.

— Осторожнее. Ещё пара фраз в таком тоне — и разговор получит неприятное продолжение.

Неприятное продолжение началось через две минуты.

Охрана. Полиция. Заявление о давлении, угрозах и попытке шантажа. Позже — ещё и намёк на неустойчивое психическое состояние. Слишком удобно, чтобы не воспользоваться.

До тюрьмы дело не дошло. Адвокаты, стоившие неприлично дорого, сумели развалить самую грубую часть конструкции. Но этого хватило, чтобы сжечь деньги, испачкать репутацию и добить то небольшое, что у Адриана оставалось от прежней жизни.

Дом пришлось продать.

Новый домик стоял уже почти на окраине, дальше от хороших кварталов, ближе к полосе дешёвого частного жилья, где зимой всегда дуло сильнее, чем нужно, а электричество иногда мигало без видимой причины. Там были тонкие стены, скрипучие полы и маленькая комната, в которую он свалил коробки с бумагами отца, не зная, когда вообще сможет к ним прикоснуться.

Прошёл месяц.

Потом ещё один.

Однажды вечером, когда дождь снова стучал в окна с той сухой швейцарской аккуратностью, с какой здесь вообще происходило всё неприятное, Адриан открыл первую коробку.

Потом вторую.

Потом перестал считать время.

Архив отца не был хаосом. Скорее — системой, для понимания которой требовался другой темп мышления. На обычных рабочих материалах лежали закладки. В отдельных папках были те самые странные записи. На старом накопителе — каталоги с короткими именами без пояснений. На нескольких листах — чертежи установки, в которой было слишком много элементов из разных областей сразу, чтобы это оказалось академической игрой.

Он читал, сопоставлял, делал заметки, выписывал термины:

семантический резонанс

устойчивость описанной структуры

порог входа

отражённая модель

наведённая связность

неполное описание нестабильно

И снова — та фраза. Теперь уже в другой папке, другим почерком, будто написанная позже и с большим усилием:

избыточно точное описание начинает требовать физики

Адриан отложил лист.

Невозможная фраза. Ненаучная. Чужая всему, чему его учили. И тем не менее — единственная во всём архиве, от которой у него перехватывало дыхание. Потому что он уже написал книгу. Он знал, что значит создавать мир с точностью до детали. До запаха. До веса воздуха. До единственно возможного слова.

И если отец был прав...

Он не стал додумывать.

Через несколько дней он нашёл папку, которой прежде не замечал. Тонкая. Почти пустая. Внутри — три страницы расчётов, одна схема и фотография металлического узла, собранного явно не в заводских условиях. Что-то среднее между лабораторным макетом, инженерным безумием и прибором, который не имеет права работать.

В центре схемы, рядом с кольцом из пометок и уточнений, отцовской рукой было написано одно слово:

РАЗВЁРТКА

Это был не термин и не шифр. Именно слово — название вещи, которую сначала приходится придумать, потому что в обычном языке для неё нет места.

Адриан положил лист на стол и долго смотрел на него молча.

Потом нашёл ещё одну запись. Короткую. Датированную за три дня до смерти отца.

Если текст описывает не вымысел, а устойчивую возможность, он может служить не моделью, а адресом. Проблема не в существовании таких миров. Проблема в том, что однажды кто-то попытается войти.

За окном темнело. В стекле отражалась комната, лампа, стол и он сам — осунувшийся, злой, чужой даже себе. Человек, у которого сначала умерла мать, потом отец, потом украли книгу, потом попытались отобрать имя. Странно, но только сейчас всё это сложилось не в цепь несчастий, а в систему.

Бреннер украл у него текст.

Отец, возможно, оставил не теорию, а способ проверить, что текст — это не метафора.

И если текст действительно мог быть адресом, Бреннер украл не книгу. Он украл дверь.

Адриан аккуратно закрыл папку, погасил верхний свет и остался сидеть в полумраке, глядя на схему Развёртки.

Мысль пришла не как вспышка. Не как безумие. И даже не как месть.

Скорее как ясность.

Есть люди, у которых нужно отнимать деньги.

Есть люди, у которых нужно отнимать власть.

А есть те, у кого надо отнимать саму реальность, потому что другого языка они всё равно не понимают.

Впервые после смерти отца у него появилось не прошлое, а будущее.

И оно было достаточно страшным, чтобы показаться ему справедливым.

Глава 1

Выпуск

Саратов в конце июня пах раскалённым бетоном, молодой листвой и чем-то ещё, что словами не объяснишь. Наверное, так пахнет место, которое собирается отпустить тебя навсегда, но делает вид, что ничего особенного не происходит.

Утро было ясное, жёсткое, без облаков. Такое небо в детстве кажется праздничным, а потом привыкаешь понимать: чем оно чище, тем безжалостнее будет день. Плац уже начинал отдавать жаром, хотя солнце только набирало силу. На трибуне блестели пуговицы и погоны, в строю ровно стояли коробки выпускников, и всё выглядело настолько уставно, что становилось почти смешно. Потому что внутри у каждого сейчас было не по уставу. Совсем не по уставу.

Я стоял рядом с Серёгой.

Если бы кто-нибудь попробовал объяснить мне тогда, что такое настоящая дружба, я бы, наверное, только пожал плечами. В училище это слово быстро теряет блеск. Там красивые слова вообще облезают быстро, и остаётся только суть. Серёга был не просто другом. Он был тем человеком, рядом с которым можно было молчать сколько угодно, и это молчание не нужно было ничем заполнять. Мы вместе пришли, вместе дрались, вместе бегали, вместе получали втык, вместе учились не только службе, но и простой науке, без которой никакое училище ничего из тебя не сделает: держать удар и не жаловаться.

Общий рапорт на распределение к одному командиру мы подали заранее. Не потому, что боялись нового места. Просто в серьёзной жизни каждому хочется иметь рядом хотя бы одного человека, которому не надо объяснять, почему ты сейчас молчишь.

Серёга стоял, чуть шурясь от солнца. Лицо спокойное, даже ленивое. Со стороны можно было решить, что ему вообще всё равно. Но я слишком хорошо его знал. Напряжённые пальцы, ровное до камня дыхание, чуть сведённые скулы — его тоже пробивало током. Не страхом и не волнением, а тем странным состоянием, когда тебе и жаль уходить, и хочется уже сорваться с места туда, где начнётся настоящее.

С одной стороны — прощание. С другой — почти щенячий, совершенно неуставной драйв от того, что впереди новая жизнь, новые люди, новое место службы, и никто уже не будет относиться к тебе как к будущему офицеру. Всё. Будущий закончился. Остался просто офицер. Или не остался. Тут уж кому как повезёт.

Музыка ударила медью, и строй стал ещё плотнее.

Прозвучала команда. Я снял берет вместе со всеми.

Краповых в строю было немного, и каждый сразу цеплял взгляд. Мой в руке всегда ощущался тяжелее, чем должен. Не потому, что ткань особенная. Просто некоторые вещи имеют вес не сами по себе, а за счёт того, что за ними стоит. Краповый — как раз из таких. За ним были боль, грязь, злость, работа до темноты в глазах и люди, которые понимали цену этой тряпки без лишних разговоров.

От этого церемония переставала быть просто красивой. В ней появлялось что-то старое, почти тяжёлое. Будто рядом с нами стояли не только мы сами, но и те, кто до нас уже снимал берет, вставал на колено и уезжал дальше — кто в гарнизоны, кто в горы, кто в такую даль, что на карте искать лень.

— К прощанию со Знаменем... — прозвучала команда.

Мы опустили на одно колено.

Бетон под ногой был тёплый. Шершавый. С въевшейся пылью и крошечными трещинами, которые почему-то запомнились лучше лиц на трибуне. Я смотрел вниз, держал берет в руке и

думал не о себе, а о том, сколько таких же пацанов стояли здесь до нас. Снимали головной убор, склоняли голову, а потом уходили. И у каждого, наверное, внутри было то же самое: грусть, азарт, злость, гордость, усталость — всё сразу. Нормальный человеческий бардак, который снаружи всё равно не виден.

Знамённая группа шла вдоль строя медленно, торжественно, без показухи. Эта медленность действовала сильнее любой речи.

Серёга, не поднимая головы, тихо сказал:

— Всё, Саня. Отбегались.

— Да нет, — ответил я так же тихо. — Это мы пока только разминку закончили.

Он хмыкнул. В строю это было почти нарушением, но в такие минуты мелкие грехи прощаются.

Когда Знамя прошло мимо, я вдруг очень ясно понял одну простую вещь: училище не делало из нас особенных людей. Оно долго, очень долго выковыривало из нас всё лишнее — слабое, пустое, декоративное. И оставляло то, с чем можно идти дальше. У кого-то больше. У кого-то меньше. Но на плацу уже никого не было случайного.

Мы поднялись с колена. Береты снова сели на головы.

Я попрощался.

Не с училищем даже — с той версией себя, которая жила здесь все эти годы.

Сразу после выпуска никто, конечно, никуда не полетел. Это только в кино судьба работает без интендантов, потерянных списков и задержек на транзитном аэродроме.

Первые двое суток мы существовали в подвешенном состоянии. Уже не курсанты, но ещё не до конца свои на новом месте. Бумаги, сверки, выдача, посадочные списки, команды, ожидание. Ночь в казарме временного размещения. Потом колонна на аэродром. Потом обратно, потому что борт задержали. Потом снова аэродром. Армия, как и судьба, обычно знает, куда тебя везти, но редко считает нужным делать это красиво.

Транспортный борт был огромный, гулкий и пах так, как положено пахнуть тяжёлой военной авиации: металлом, керосином, старой краской, ремнями, потом, пылью и ещё чем-то неуловимым, что появляется только в машинах, слишком долго живущих рядом с людьми. Мы сидели вдоль борта на жёстких местах, под ногами стояли вещмешки. Кто-то дремал, кто-то молчал, кто-то пытался шутить, но в таком гуле шутки всё равно звучат как обрывки радиопереговоров.

Серёга ткнул меня локтем:

— Ну что, лейтенант, романтика началась?

— Романтика, — сказал я. — Если повезёт, нас ещё и покормят какой-нибудь котлетой, изготовленной при царе Горохе.

— Зря смеёшься. В армии надо любить две вещи: возможность поспать и то, что дают пожрать. Всё остальное факультативно.

— Это ты сейчас как философ или как будущий взводный?

— Как человек, который уже двое суток мечтает только о нормальном чае.

Мы усмехнулись и снова замолчали. В военной авиации быстро понимаешь цену разговорам: чем тяжелее борт, тем меньше тянет на философию.

Через иллюминаторы ничего толком не было видно. Да и не хотелось смотреть. Внутри всё равно происходило интереснее. То самое чувство перехода сначала приходит волной, потом стихает, потом снова поднимается. Где-то на втором перелёте я поймал себя на мысли, что больше не думаю о выпуске. Плац, Знамя, музыка, трибуна — всё уже ушло в прошлое с пугающей быстротой. Осталось движение вперёд. И тихий, злой интерес: что там дальше?

На третий день нас подняли ещё до рассвета.

Южный воздух был другим. Плотнее, суше, с запахом камня и керосина. На аэродроме стояли машины, люди двигались без суеты, но быстро, и в этом утреннем полумраке всё выглядело уже не учебным, а настоящим.

С вертолётom я познакомился ещё на земле.

Он стоял чуть в стороне от остальных. По посадке шасси, по капотам, по всей тяжёлой уверенной осанке было видно: машину не просто выпустили с завода — её дорабатывали под чужую дурь и реальную жизнь. Лопастаи чуть опущены, как у уставшей птицы, которая знает, что отдыхать ей недолго.

— Пошли, красавцы, — буркнул кто-то из сопровождающих. — Сейчас вас прокатят с ветерком. Если не вырвет — считайте, что обжились.

— А если вырвет? — спросил кто-то сзади.

— Значит, будете знать своё место в пищевой цепочке.

Серёга наклонился ко мне:

— Уже люблю новое место службы.

— Погоди, — сказал я. — Может, они ещё ласковые.

— Ласковые в армии только собаки у штаба. И то не все.

В салоне было тесно, шумно и очень по делу. Мы устроились на своих местах, пристегнулись, и почти сразу металлический организм ожил. Сначала где-то внизу прошла дрожь. Потом — звук, не похожий ни на что другое. Не шум даже, а ритм. Тяжёлый, плотный, входящий в грудную клетку. Вертолёт начал работать, и вместе с ним включилось всё внутри.

Горы появились не сразу.

Сначала шли пологие складки земли, потом рельеф начал ломаться, собираться, затягиваться в узлы, и через какое-то время под нами лежала совсем другая страна. Камень, тени, резкие склоны, узкие долины, белые шапки снега далеко наверху, река, режущая дно ущелья, как лезвием. Я смотрел и автоматически просчитывал: сектора обстрела с каждого гребня, мёртвые зоны в распадках, точки, где колонна встанет намертво, если что пойдёт не так. Красоты я не видел. Видел геометрию. Такая уж профессиональная деформация.

По бокам какое-то время шло прикрытие. Потом в эфире щёлкнуло, и голос, спокойный, почти скачущий, сказал:

— Зона активного контакта закончена. Передали наземному сопровождению. Ударная пара — отбой.

Обе машины прикрытия ушли в стороны красиво, почти лениво, и исчезли между склонами. А мы пошли дальше одни.

Перед самой посадкой пилот повёл машину так, что у меня на секунду сжались зубы.

Потом я уже узнал, что лёгчики называют это по-разному. Для меня тогда всё выглядело проще: вертолёт вдруг перестал быть тяжёлой железной тушей и превратился в злую, точную птицу. Пошёл вниз резко, почти неприлично резко, закрутил пространство вокруг себя, впился в площадку так, будто не садился, а врубался в неё. Быстро, жёстко, без сантиментов. Именно так и надо входить в места, где излишняя плавность может дорого стоить.

Когда мы коснулись площадки, мне показалось, что бетон сам дёрнулся нам навстречу.

Винты ещё молотили воздух. Пыль и мелкий мусор подняло стеной. Запахло раскалённым железом, камнем и чем-то электрическим. Мы выскочили наружу, пригнув головы.

Первое, что я увидел, была не казарма и не люди.

Периметр.

Инженер во мне просыпался быстрее, чем нормальный романтик. Я всегда сначала смотрел не на красивое, а на правильное. А тут всё было слишком грамотно, чтобы считать место обычным.

Соединение сидело в узкой горной чаше, как заноза в ладони. Въезд перекрывали бетонные ежи и тяжёлые ворота. Дальше — двойное ограждение, колючка, проходы, рассчитанные

не на парадный порядок, а на то, чтобы в случае чего резать поток. Низкие серые точки наблюдения с узкими щелями. Локаторная мачта на склоне — поставленная с умом, почти без мёртвых секторов. Генераторный блок, укрытый сетями и бронёй. По углам — автоматические пулёмётные точки, а ближе к тыловому рубежу угадывалось кое-что ракетное, тяжёлое, не для показухи.

Между строениями стояли бронетранспортёры, грузовики, ремонтный тягач, санитарка, несколько машин связи. Всё не новое, но рабочее. А в таких местах рабочее всегда ценнее нового.

— Смотри-ка, — сказал Серёга, идя рядом. — А тут не скучают.

— Здесь, похоже, вообще не знают этого слова.

Нас встречал капитан. Крепкий, невысокий, с лицом человека, который давно перестал тратить силы на производимое впечатление.

— Лейтенанты? — спросил он, даже не замедляя шаг.

— Так точно.

— Пошли. Командир хочет лично посмотреть, кого ему опять прислали вместо нормальных людей.

— А нормальных куда девают? — спросил Серёга.

Капитан впервые посмотрел на нас внимательнее.

— Нормальные сюда сами не просятся.

— Тогда всё честно, — сказал я.

Он хмыкнул.

— Уже лучше. А то я боялся, совсем деревянных привезли.

Внутри расположения всё было не по уставной картинке, а по живой логике службы. Люди работали. Кто-то возился с техникой. Кто-то курил, глядя в сторону гор. Кто-то тащил ящик. Кто-то сидел на бетонном блоке и с тем ленивым интересом смотрел на новеньких, с каким в любой части смотрят на свежеприбывших: либо обживутся, либо быстро станет видно, что зря приехали.

Командир части оказался подполковником. Сухим, жилистым, с лицом, на котором юмор, если и появлялся, то только как побочный эффект усталости.

Доклад. Рукопожатие. Короткий взгляд, после которого сразу понимаешь: тебя уже оценили, и в этой оценке нет ни грамма праздничного настроения.

— Значит, вместе попросились? — спросил он, переводя глаза с меня на Серёгу.

— Так точно.

— Люблю оптимистов. Они особенно полезны первые две недели.

Серёга чуть дёрнул уголком рта.

Подполковник это заметил.

— Ладно, шутка. Почти. Смотрите, орлы. У меня к вам пока простое требование: не надо сразу пытаться произвести впечатление. Обычно этим занимаются те, кого потом ищут по склонам.

— Поняли, товарищ подполковник.

— Хорошо, что поняли. Ещё лучше, если запомните. Разместить их.

* * *

Казарма была рабочая.

Не жилая — именно рабочая. Разница чувствуется сразу. Жилая — это когда люди здесь живут. Рабочая — когда восстанавливаются между выходами, чтобы снова идти. Металл кроватей, запах ткани, сапожной мази, старой пыли и чая. Несколько коек заправлены так, будто хозяев нет уже давно. Несколько — наоборот, явно чьи-то, с личными мелочами, придавленными к матрасу или засунутыми под подушку.

Нас встретил сержант. Широкий, как шкаф, с лицом бывшего боксёра — не того, который выиграл, а того, который дрался долго.

— Саратов? — спросил он, не глядя на документы.

— Он самый, — ответил я.

— И как там? Всё ещё учат Родину любить?

— Учат, — сказал Серёга. — Но без фанатизма.

Сержант кивнул.

— Уже неплохо. Фанатики здесь не задерживаются.

Он показал койки, объяснил где что и исчез так же молча, как появился.

Серёга немедленно лёг, закинул руки за голову и уставился в потолок с видом человека, который уже всё решил и решение ему нравится.

— Знаешь, — сказал он, — а кровать вполне ничего.

— Ты лежишь три секунды.

— Трёх секунд достаточно. Я опытный.

С соседней койки приподнялся боец. Молодой, но с глазами старше лет на десять. Посмотрел на нас не враждебно, но оценивающе — как механик на двигатель, который ещё не знает, что его ждёт.

— Выпускники? — спросил он.

— Они самые, — сказал Серёга.

— Первый выход когда?

— Пока не знаем, — сказал я.

Боец помолчал секунду.

— Хорошо. Значит, есть хоть пара дней, чтобы осмотреться.

— Значит, нам повезло, — прокомментировал Серёга.

— Это смотря с какой стороны считать, — ответил боец и снова лёг, закрыв тему с той же лёгкостью, с какой открыл.

Я бросил вещи, осмотрел помещение ещё раз — уже не как новый, а как человек, которому здесь предстоит ночевать. На стене над одной из коек кто-то написал маркером: «Не геройствуй. Герои лежат левее». Ниже другим почерком дописали: «И правее тоже». Ещё ниже — третьим: «И прямо».

Серёга проследил за моим взглядом.

— Жизнеутверждающий интерьер, — сказал он.

— Честный, — поправил я.

* * *

В оружейке было то, что я люблю больше всего на свете.

Порядок.

Не парадный — живой. Стойки, крепления, ящики, маркировка. Всё на месте, всё с логикой, всё без лишнего. Оружейник, прапорщик лет сорока, смотрел на нас с выражением человека, который за свою жизнь видел столько выпускников, что давно перестал делить их на плохих и хороших. Только на тех, кто понимает, и тех, кто пока нет.

— Новые? — спросил он.

— Так точно.

— Оружие уважаете или любите?

— Уважаем, — сказал я.

Прапорщик чуть прищурился.

— Правильный ответ. Любят оружие только два типа людей: те, кто в кино насмотрелся, и те, кто ещё не стрелял по-настоящему. Остальные уважают.

Он дал мне автомат. Я взял, привычно проверил вес, посадку, ремень. Прапорщик кивнул — почти незаметно, но я заметил.

— Этот хотя бы руками думает. Второй?

— Я тоже руками, — сказал Серёга и взял свой автомат с видом, будто здороваётся со старым знакомым.

— Все вы сначала руками, — сказал прапорщик. — Потом некоторые начинают головой — и тут обычно начинаются проблемы. — Он помолчал и добавил: — Хотя голова тоже нужна. Без неё руки не знают, куда идти.

— Мудро, — сказал Серёга.

— Это не мудрость. Это статистика.

Серёга хотел что-то добавить, но заметил табличку на стене над стойкой. Написано было от руки, крупно, без затей: «Оружие не заряжено. Проверь сам. Дважды. Третий раз — для успокоения совести».

— А четвёртый? — спросил Серёга, кивнув на табличку.

Прапорщик даже не посмотрел в ту сторону.

— Четвёртый — значит, нервничаешь. Выпей чаю и начни сначала.

* * *

В оружейке замкомроты появился раньше, чем мы успели толком осмотреться.

Быстрый. Жёсткий. Взвинченный ровно настолько, насколько должен быть человек, которому сверху уже успели накидать задач. Он скользнул по нам взглядом и сказал без вступления:

— Всё, выпускники. Кончилось ваше торжество. Сегодня ночью выход.

В оружейке сразу стало тише.

— Работаем в усилении. Прикрываем одну контору. Контора, как вы понимаете, не налоговая. Что там у них конкретно, никто толком не знает. В горах какая-то нехорошая движуха. Верхам не нравится. Нам — тем более. Подробности через час на брифинге. До этого — привести себя в чувство, разместиться, не путаться под ногами.

Серёга спросил:

— Приём, я так понимаю, у вас действительно тёплый.

Замкомроты посмотрел на него без раздражения.

— Тёплый — это когда вас сначала кормят, потом ругают. А это так, лёгкое знакомство.

Потом повернулся ко мне:

— Фамилия?

— Северцев.

— Ты инженер?

— Так точно.

— Хорошо. Там, по слухам, хрень какая-то техническая. Разберёмся на месте. Через час у командира.

Он ушёл так же быстро, как появился.

Я посмотрел на Серёгу.

Серёга посмотрел на меня.

За бетонным периметром темнели горы. Где-то там, в складках рельефа, который я уже успел мысленно разложить по секторам и мёртвым зонам, сидела та самая «нехорошая движуха» и та самая «хрень какая-то техническая».

И вот это последнее мне не нравилось больше всего.

Люди в погонах обычно боятся засад, мин и чужих стволов. Это хотя бы честные опасности: у них есть направление, дистанция и звук. А я с детства слишком хорошо знал другое: самые большие неприятности начинаются тогда, когда кто-то уверенно говорит, что «там по технике какая-то ерунда».

Потому что техника, если она действительно обиделась на человека, сначала делает вид, что подчиняется. А потом очень спокойно объясняет, кто здесь дурак.

Глава 2

Ночная станция

Собрались мы не быстро.

Вообще, когда в части говорят: «Через час брифинг, потом выход», — нормальный человек берёт необходимое и идёт. Но мы с Серёгой к тому моменту уже успели переварить первую порцию вводных: непонятные аномалии, сдохшая электроника, конторские с гранатомётами размером с небольшую мечту и где-то за перевалом — «нехорошая движуха», которую никто толком объяснить не может.

Это не тот набор вводных, с которым берут лёгкую броню и надеются на лучшее.

— Смотри, — сказал Серёга, когда мы зашли на склад. — Вот стоит нормальный разумный человек перед выбором снаряжения. Он не знает, что его ждёт. Что он делает?

— Берёт всё, что может унести.

— Правильно. А что делает неразумный человек?

— Берёт лёгкую броню и надеется на лучшее.

— Именно. Мы — разумные люди, Саня.

Мы взяли тяжёлую броню — не для красивой зачистки, а для работы, у которой в уставе обычно нет нормального названия. Керамика, боковая защита, усиленные наплечники. Тяжело, неудобно, правильно. Разгрузки забили магазинами почти до неприличия, сверху добавили по два подсумка. Серёга взял ещё пояс с гранатами — и не только световыми.

— Ты как выючная лошадь, — сказал я.

— Зато живая, — ответил Серёга. — Что принципиально важно.

Со склада я забрал кое-что ещё.

Прибор ночного видения — не стандартный армейский, а тот, который прапорщик держал в отдельном ящике и выдавал только тем, кому доверял. Трофейный, с тепловизионным каналом. В нём темнота не просто становилась зелёной — она становилась читаемой. Живое светилось. Холодное молчало. Разницу между человеком, машиной и камнем можно было поймать с двухсот метров.

— Зачем тебе это? — спросил Серёга, глядя на прибор.

— Не знаю, — сказал я. — Но если там что-то такое, что нормальным взглядом не видно, — хочу хотя бы попробовать увидеть в другом диапазоне.

Серёга помолчал.

— Знаешь, — сказал он наконец, — раньше я думал, что ты параноик. Теперь думаю, что ты просто опережаешь события.

— Это одно и то же.

— Только одно из них полезно для здоровья.

Помимо этого — усиленные наколенники, потому что горы колени не прощают. Дополнительный аккумулятор для рации. И маленький инженерный набор — не весь, только то, что влезло в боковой карман: мультитул, детектор напряжения, моток тонкого провода, пара зажимов.

Серёга посмотрел на провод с таким выражением, будто хочет спросить, но не уверен, что хочет знать ответ.

— Провод зачем?

— Если там что-то электрическое и непонятное — хочу иметь возможность прозвонить.

— А если там что-то живое и непонятное?

Я подумал секунду.

— Тогда провод тоже может пригодиться. Как растяжка.

— Ты романтик, Северцев. Это всегда подкупало.

На выходе со склада нас тормознул один из старших бойцов — тот самый, с тяжёлым лицом человека, который слишком много видел и никому не советовал повторять.

Он скользнул взглядом по нашей броне, по гранатам у Серёги, по моему ПНВ и сказал:

— Правильно грузитесь.

— Так заметно? — спросил Серёга.

— Да. Те, кто идут на обычную работу, так не готовятся. А вы уже поняли, что это не обычная.

Он помолчал секунду.

— Если внутри начнётся херня — не лезьте вперёд без команды. Геройство в тесных бетонных кишках — самая тупая форма самоубийства.

— А умная? — спросил Серёга.

— Умной не бывает, — ответил боец. — Бывает только быстрая и долгая.

И ушёл.

Я посмотрел ему вслед.

— Люблю таких, — сказал Серёга. — Говорят мало, зато сразу хочется жить аккуратнее.

— Это потому, что они обычно правы.

К брифингу мы выходили последними. Тяжёлые, нагруженные, готовые ко всему, что можно придумать, и ещё к паре вещей, которые придумать сложно.

Когда мы шли на брифинг, я снова увидел одного из конторских.

Он стоял у стены общего корпуса и разговаривал с замкомом.

Вернее, говорил в основном он один. Замкомроты слушал. Страннее всего были не слова — обычные, короткие, без повышенного тона — и не почти отсутствующая жестикация, а лицо замкома. Он кивал, уточнял, пытался вставлять что-то в ответ, но по нему было видно: понимания в этой беседе ровно столько же, сколько у человека, которому инженер объясняет реактор через мясорубку. Лицо держал — как положено нормальному офицеру перед подчинёнными. Но в глазах сидело раздражение пополам с тревогой.

А конторский был спокоен.

Не демонстративно и не театрально — по-настоящему. Как врач, который уже видел внутренности хуже, чем у вас в животе, и потому не суетится.

Он заметил, что я смотрю, и перевёл на меня взгляд.

Ненадолго. На секунду.

Хватило.

Будто тебя не рассматривают, а сразу помещают в какую-то внутреннюю таблицу. Рост, вес, реакция, степень наглости, пригодность, вероятность выживания. Всё это без единой лишней эмоции.

— Чего замер? — буркнул Серёга рядом. — Жених невесту увидел?

— Не нравится он мне.

— Это нормально. Они для этого и сделаны.

— Для чего?

— Чтобы нормальным людям рядом с ними было не по себе.

В общем зале командир уже ждал.

Помещение было обычное: столы вдоль стен, грубые стулья, карта района, старый проектор. На экране — фотография горного объекта. Электростанция стояла в узком распадке, прижатая к камню, как чужой металлический организм. Бетон, технические галереи, служебные дороги, кабельные линии, въездной коридор, подпорные конструкции. Даже по снимку было видно: место неприятное. Из тех, где сама география работает против человека.

Зал быстро затих.

Командир начал без раскачки.

За последний месяц в районе станции шла непонятная движуха. Сначала местные решили, что духи подтягивают что-то серьёзное: техника, машины, ночные рейсы, непонятные грузы. Потом подключилась разведка. И вот там начались вопросы, на которые никто не любил отвечать вслух.

На объекте засветились люди из ФСБ.

Не по легенде, не под видом энергетиков — именно засветились, будто намеренно. Несколько машин, короткая работа на местности, потом исчезли. Быстро и чисто. Так чисто, что это смутило даже наших разведчиков.

А смутить опытного разведчика — задача сама по себе нетривиальная.

— То есть даже те, кто обычно замечает всё, нихрена не поняли? — тихо пробормотал кто-то сзади.

— Именно, — сухо сказал командир, даже не оборачиваясь. — И если вам от этого спокойнее — у меня для вас плохие новости.

По залу прошло короткое движение. Не шум, а именно нерв.

Дальше пошло то, что в нормальной бумаге называют осторожно, а в курилке — коротко и матом.

Командир, конечно, использовал слово «аномалии». Произнёс его с таким видом, будто ему самому после брифинга хотелось вымыть рот мылом.

Сначала начала дурить электроника. Потом — системы автоматического наведения турелей и ракетных модулей. Пару раз связь падала сразу на нескольких каналах. Один раз локалатор на десять секунд нарисовал такую кашу, будто половина перевала решила взлететь. Наблюдательные посты докладывали о свечении за перевалом — не ярком, не постоянном. Такое бывает, когда в глубине горы кто-то временами открывает дверь в очень неправильный свет.

— Уже отлично, — тихо сказал Серёга. — Мне пока всё нравится.

— Помолчи, — ответил я.

Потом посыпались мелочи. Те самые, от которых нормальный человек тревожится сильнее, чем от большого взрыва. На станции часы в разных помещениях начали расходиться между собой: сначала на секунды, потом на минуты. Камеры наружного наблюдения писали пустой коридор, по которому в этот же момент шли люди. Один техник клялся, что трижды подряд открывал одну и ту же дверь и трижды попадал в разные помещения. Его сперва списали на усталость, но записи доступа на замке подтвердили: три открытия одной двери с интервалом в шесть секунд — и три разных сектора объекта.

— Блядь, — негромко сказал кто-то справа. — Вот это уже совсем не по технике.

— А по чему? — так же тихо спросил другой.

— По херне какой-то, — честно ответили ему.

Командир продолжал, будто не слышал.

Собак на территорию больше не пускали. Они упирались всеми четырьмя лапами, скулили и рвались обратно. Птиц над станцией почти не стало. Не потому, что их распугали, — просто не было. Воздух над объектом будто выжгло до самой высоты.

Потом нашли мёртвых.

Местные гражданские. Несколько человек. Всех нашли в одном месте — не просто убитых, а аккуратно сложенных после чего-то непонятного и очень делового. Повреждения на телах были такие, что медики сначала решили: либо редкая химия, либо сильный термический эффект. Но химии не нашли. Обычного огня — тоже. С ожогами это сочеталось плохо. Ещё хуже было другое: у двоих кожа на руках и лице выглядела так, словно её обварили изнутри.

Фотографии на экране мелькнули быстро.

Но хватило.

Зал молчал.

Потом кто-то выдохнул:

— Да ну нахуй...

Никто его не одёрнул.

Командир выключил проектор на пару секунд — дал залу проглотить это молча. Потом экран снова засветился. Планы объекта, спутниковые снимки, маршруты.

— На станции постоянное движение. Противник таскает технику, ящики, что-то роет, что-то протягивает. Чёткого понимания нет. ФСБ запросили общее прикрытие. Формулировка официальная — дать им возможность не отвлекаться на мелочи.

— На мелочи, — пробурчал кто-то сзади. — Люблю, когда нас так ласково называют.

Зал коротко хмыкнул.

Командир сделал вид, что не услышал.

Роли распределили быстро. Нам с Серёгой досталась точка ближе всех к объекту — как технической связке и внешнему усилению. Конторским нужен был кто-то, кто понимает железо, кабели, внутреннюю начинку станции и всё, что там может начать вести себя не по-человечески.

Серёга наклонился ко мне:

— Ну всё. Дожили. Значит, если там шайтан-машина, лезть к ней будем мы.

— Ты хотел романтики.

— Я хотел чай. Чай и койку. А не вот это всё.

С другого края кто-то буркнул:

— Да ладно вам. Вон простые десантники дворец Амина брали, а потом все лавры опять Альфе достались. Историческая традиция. Мы сделаем грязную работу, а кто-нибудь в штатском потом расскажет, как они всё грамотно организовали.

— Ты, главное, живым останься, историк. А то тебя потом даже в примечания не вставят.

Смех был короткий, злой, правильный. Такой, каким в армии смеются не потому, что весело, а потому что иначе совсем уж мрачно.

Командир дослушал это с каменным лицом и сказал:

— Насмеялись? Отлично. Теперь слушаем внимательно. Если там действительно происходит то, что мне тут по бумаге называют «нестандартной активностью», то я очень не хочу потом собирать вас по склону в мешки. Поэтому запоминаем: самостоятельности не будет. Умников не будет. Попыток лично разобраться с тайнами мироздания — тоже не будет. Работаете по задаче. Всё непонятное сначала докладываете, потом уже пугаетесь.

— А если сначала напугаемся? — спросил кто-то.

— Тогда делайте это тихо.

К ночи мы уже были в броне.

Двигались на БТР без фар, на ЭОПах. Машина шла медленно, тяжело, по камню и разбитой горной дороге. В этом глухом ночном движении было что-то древнее и правильное: не колонна идёт, а земля сама тащит тебя туда, куда надо.

За бронёй — темнота.

Не городская, не деревенская. Настоящая горная ночь. Сначала кажется просто тёмной. Потом понимаешь: нет. Она не тёмная — она живая. Смотрит со склонов, дышит холодом из распадков, держит звук и иногда возвращает его так близко, будто кто-то прошептал прямо в ухо.

Серёга сидел рядом, прижавшись к металлу. Молчал. Только пальцы чуть двигались — привычный жест, как у человека, который мысленно перебирает всё снаряжение ещё раз.

А у меня в голове всё не складывалось.

Слишком много переменных. Слишком мало логики.

— Ты сейчас снова думаешь лицом, — сказал Серёга.

— Чего?

— У тебя есть такая рожа. Когда ты не просто думаешь, а уже споришь с мирозданием.

— И кто побеждает?

— Пока счёт не в твою пользу.

БТР качнуло на камне — разговор сам собой закончился.

Через пару минут Серёга снова заговорил. Тише.

— Слушай.

— Ну.

— У тебя бывает такое чувство, когда ещё ничего не произошло, а ты уже знаешь, что сейчас начнётся какая-то дрянь?

— Бывает.

— Вот у меня сейчас оно.

Я промолчал.

Потому что у меня было то же самое.

Это был даже не страх, во всяком случае не тот, что бывает перед боем. Простой и понятный страх работает честно: вот опасность, вот ты, вот дистанция между вами. А здесь было другое. Опасность уже сидела где-то внутри и только выбирала, какой формой себя показать.

— Я, если что, не трус, — сказал Серёга, глядя в темноту.

— Знаю.

— Но вот эта херня мне не нравится.

— Мне тоже.

— Прямо очень.

— Угу.

— Отлично. Значит, умираем в полном взаимопонимании.

Я усмехнулся, но как-то криво.

Потому что шутка была хорошая. И слишком своевременная.

Высадились далеко от станции. Дальше шли ногами.

И вот тут началось то, что я потом долго не мог объяснить словами.

Это было не похоже ни на обычную опасность, ни на страх. Что-то другое.

В приборе ночного видения мир стал зелёным и чётким: камни, кустарник, срезы склонов, сухие русла. Всё на месте, всё понятно, всё поддается логике. Но между картинкой и реальностью стояла тонкая плёнка. Шаг — и через секунду мозг догоняет, что ты уже прошёл это место. Звук — и только потом понимаешь, что услышал его позже, чем он случился.

Горы не отвечают. Они только слушают.

Мы двигались в тишине. Шаги по камню — тихие, мягкие, выверенные. Дыхание — ровное, через нос. Оружие — в руках, не на ремне. Мир сузился до коридора между тем, где мы были, и тем, куда шли. Всё остальное — небо, холод, далёкие огни в долине — существовало где-то за пределами этого коридора, как декорация, которую никто не убрал.

Я слушал.

Ветер в камнях имеет свой звук — низкий, почти органнй. Мелкая осыпь под ногами — другой, сухой, как шёпот. Где-то далеко — то ли эхо, то ли что-то ещё.

Я остановился на секунду, поднял кулак. Колонна встала.

Тишина.

Потом снова — ветер. Только ветер.

Серёга подошёл вплотную, наклонился к уху:

— Что?

— Ничего, — сказал я тихо. — Показалось.

— Хорошо, — сказал он так же тихо. — Потому что если бы не показалось, я бы расстроился.

Мы пошли дальше.

Но ощущение не ушло.

Оно, наоборот, стало плотнее. Место замечало нас. Привыкало. Примерялось.

Мы заняли позицию.

Скала прикрывала справа. Впереди — просматриваемый кусок долины и сам объект. Слева — узкая полоса камня для отхода, если сильно повезёт.

Отсюда станция выглядела так, будто кто-то попытался встроить завод прямо в горло древней твари. Низкие бетонные корпуса, техокна, вентиляционные шахты, трубы, кабельные трассы, тусклые огни. По территории шло движение: машины подъезжали и уходили, люди таскали ящики, перекачивали тележки, перегружали что-то у боковых ворот. На верхнем ярусе время от времени проходила белёсая рябь — слишком слабая для прожекторов и слишком неправильная для нормальной электрики.

Я переключил прибор в тепловизионный режим.

И сразу пожалел.

Нет, там не было ничего конкретного. Никаких чудовищ. Никаких аномалий в явном виде. Просто тепловая картина объекта не совпадала с тем, что я видел глазами. Там, где должны были быть холодные бетонные стены, шло ровное тепло. Не жар, не пожар, не аварийный перегрев. Спокойное тепло живого существа. Плохая техника ломается хаотично; эта будто выполняла чужой порядок.

Я перешёл обратно в обычный режим.

Здание не дышало. Здание было просто зданием.

Но ощущение осталось.

— Что там? — спросил Серёга.

— Потом расскажу.

— Это значит «ничего хорошего»?

— Это значит «не хочу тебя расстраивать до начала смены».

Серёга помолчал.

— Знаешь, мне кажется, нас сюда послали не потому, что мы самые подготовленные. А потому что мы самые новые. И если что-то пойдёт не так, никто особо не расстроится.

— Это паранойя.

— Это армейская логистика.

Но хуже всего была не станция.

Хуже всего было пространство вокруг неё.

Звук там вёл себя неправильно. Лязгал металл, кто-то орал, работали моторы, двигались люди — а над объектом всё равно висела глухая плёнка. Место не впускало обычный шум целиком: часть оставляло внутри, пережёвывало, держало. Иногда до нас долетало эхо шагов, хотя шагать там в этот момент было некому. Один раз мне показалось, что на крыше мелькнула фигура, но ПНВ показал пустоту. Не «никого» — именно пустоту. Тёмную, ровную, как вырезанную.

Я поймал себя на том, что уже несколько минут дышу слишком тихо. Как в детстве, когда заходишь в чужую тёмную комнату и не хочешь, чтобы тебя заметили. Только здесь заметить могло что угодно.

— Красиво живут, — пробормотал Серёга.

— Не нравится мне это.

— Мне тоже. Но я, в отличие от тебя, не инженер. Мне можно просто интуитивно бояться.

Я не ответил.

Потому что он был прав.

Я тоже уже не думал как инженер. Я уже прислушивался к месту.

И это мне не нравилось ещё больше.

Потом появились конторские.

Шли грамотно. Без лишней героики, без суеты. Так заходят люди, которые заранее знают, что внутри им очень не понравится — и всё равно идут. Человек пятнадцать. Обмундирование нестандартное, тяжёлое, с непривычными элементами брони, странными блоками на спинах.

Несколько человек несли такие ручные гранатомёты, что я невольно присвистнул.

— Это они на кого, мать их, собрались охотиться? — прошептал Серёга. — На чёрта в бронезилете?

— Может, на самого себя. Только выросшего.

— Не смешно.

— А я и не смеюсь.

— Слушай, — сказал Серёга, глядя на их снаряжение. — А мы вот думали, что взяли много. Вон те взяли больше.

— И это должно нас успокоить?

— Нет. Это должно нас насторожить. Если люди, которые знают, куда идут, берут столько — значит, нам с нашим запасом будет весело.

— Или быстро.

— Желательно не в том порядке, в каком ты это сказал.

Они выставились у входа быстро. Сняли нескольких охранников — чисто, почти без звука. Основная группа ушла внутрь.

И стало тихо.

Тихо настолько, что я услышал, как где-то выше по склону сыплется мелкий камень.

Этот звук здесь был как выстрел.

Я не пошевелился. Серёга тоже. Мы оба смотрели на склон — долго, внимательно, пока не убедились, что там ничего. Просто камень. Просто осыпь.

Просто горы, которые всегда немного шевелятся ночью.

Минут пятнадцать ничего не происходило.

Серёга тихо сказал:

— Знаешь, что хуже стрельбы?

— Тишина перед ней.

— Именно. Потому что стрельба — это уже понятно. А тишина — это ещё нет.

Потом внутри станции что-то загудело.

Сначала низко, почти на границе слуха, будто глубоко под бетоном запустили тяжёлую машину и она только набирала обороты. Потом звук начал расти, ползти вверх, входить в зубы, в виски, в позвоночник. Уши не болели. Болела голова — изнутри, там, где нет костей, которые могли бы держать.

— Что это? — тихо спросил Серёга.

— Не знаю.

— Это плохой ответ.

— Я знаю.

Над станцией появилось свечение.

Свет был не прожекторный и не электрический в обычном смысле. Он сочился из самой конструкции — из швов, из техокон, из вентиляции, из кабельных каналов. Здание изнутри начинало плавиться в собственном свете. На клеммах, на открытых металлических узлах пошли дуговые разряды — синие, белые, слишком яркие. Озон чувствовался даже с нашей позиции. По бетону прыгали тени.

И на секунду мне показалось, что станция шевельнулась.

Станция не вздрогнула от взрыва и не осела. Она именно шевельнулась — как живая мышца под кожей.

Я переключил прибор в тепловизионный режим.

Здание горело.

Не снаружи. Изнутри. Равномерно, по всему объёму — как будто внутри него что-то проснулось и теперь разогревалось. Тепловая картина была такой, какой не бывает у зданий. Такой бывает у живых существ.

Я переключился обратно.

— Серёга, — сказал я тихо.

— Вижу.

— Нет, ты не видишь то, что вижу я.

— Тогда не говори. Мне сейчас важнее психологическое равновесие, чем информация.

Потом хлопок.

Короткий. Резкий. Как будто внутри станции лопнул воздух.

Пауза.

Снова гул. Снова вспышка. Снова хлопок.

— Что за хрень... — начал кто-то в эфире и оборвал фразу на полуслове.

А потом внутри началась стрельба.

Сразу дикая. Не перестрелка — именно стрельба. Так стреляют, когда люди уже не работают, а пытаются выжить. Из технических окон и вентиляционных шахт вырвался огонь. Где-то внутри громыхнули подствольники. Потом — нечто тяжелее. Один раз рвануло так, что станция будто попыталась сложиться внутрь себя, как консервная банка под сапогом.

Рация взорвалась голосами.

Не докладами — криками. ФСБ орали о помощи. Коротко, рвано, через треск помех, перебивая друг друга. Там уже не было ни спокойствия, ни загадочности, ни этой их проклятой уверенности. Только голый, почти животный приказ: помогите. Любой ценой.

— Ну, — сказал Серёга, поднимая оружие. — Хорошо, что взяли много патронов.

— Ты не знаешь, на кого идёшь.

— Знаю одно: патронов много не бывает. Это единственная истина, которую я усвоил за пять лет службы.

Команда на движение прозвучала сразу.

Мы с Серёгой были ближе всех к боковому сектору и пошли первыми.

Из станции повалили люди — духи, конторские, какие-то тени, в которых уже не сразу можно было различить, кто свой, кто чужой. Машины рвались с мест. Кто-то палил в темноту. Кто-то горел. Справа, у грузовой площадки, рванула техника — вверх взметнуло куски железа, пламя и чёрную пыль. Всё это вместе выглядело как кадр из очень плохого кино, где у режиссёра кончился бюджет на здравый смысл, но ещё оставался порох.

Нет.

Это было хуже кино.

В кино всегда чувствуешь рамку кадра. Даже если на экране мясо, огонь и кишки — ты всё равно где-то внутри понимаешь, что за пределами кадра есть тишина, режиссёр, осветитель, нормальный мир. А здесь рамки не было. Всё было настоящее. И именно поэтому мозг сначала отказывался в это верить, а потом уже не успевал отказываться.

Я успел заметить, как один из конторских, весь в огне, вывалился из бокового выхода и рухнул на колени. Двое духов тащили что-то длинное из грузовика возле ворот. Мы открыли огонь сразу.

Автомат в такие секунды перестаёт быть оружием. Он становится продолжением рефлекса.

Духи попадали быстро. Серёга ушёл левее, к бетонному выступу у входа, работая коротко и зло. Я рванул к машине, рядом с которой билось пламя. Внутри — двое конторских. Один ещё двигался.

Под ногой попался огнетушитель. Тяжёлый, холодный, родной. Я сорвал чеку и дал по машине белой струёй — пламя захлебнулось, зашипело, отступило.

— Тащи! — крикнул Серёга.

Я дёрнул дверь — и в этот момент Серёга уже ушёл дальше, к самому входу, туда, где дым выбивало из ворот рваными чёрными толчками.

Потом в рации хрипло, с надрывом, прозвучал его голос:

— Блядь, драко...

И дальше мир сорвался.

Ворота станции выбило изнутри так, будто в них ударил не взрыв, а что-то живое и очень тяжёлое.

Впереди ударной волны, среди летящего железа и бетонной крошки, я увидел Серёгу. Его вынесло в воздух — не отбросило, именно вынесло, как тряпичную куклу. Он пролетел несколько метров, ударился о землю и исчез в дыму у бетонного выступа.

А потом из ворот вышло оно.

Сначала — голова.

Узкая. Хищная. Длинная, как у крокодила, только поставленная иначе — на мощной шее, которая двигалась слишком плавно для такой массы. Вдоль шеи шёл гребень — тёмный, острый, блестящий в свете пожара. Потом появились плечи. Потом — туловище, которое не умещалось в масштаб нормального мира. Не потому что огромное. Потому что неправильное. Слишком плотное, слишком уверенное в себе, слишком наглое в собственной физике.

Чешуя.

Или что-то похожее на чешую — тёмное, мокрое от внутреннего жара, переливающееся в отсветах огня медью и чернью. Это был не металл и не кость, а живая поверхность, которая двигалась сама по себе, слегка, чуть — как кожа на дышащем боку.

Пасть открылась. Изнутри плеснул свет — не жёлтый, не оранжевый. Белый, с синим краем. Как дуга электросварки, только живая.

Это был дракон.

Никаких сравнений. Никаких метафор. Никакого «что-то похожее». Это был не ящер, не машина и не галлюцинация. Дракон. Существо, чей облик наши сказки когда-то приняли бы за древний ужас, а здесь его выдрали из чужой ветви и швырнули в бетон, огонь, мат и стрельбу.

Он хреначил всех подряд.

Канторские лупили по нему из всего, что у них было. Духи тоже палили — уже не понимая, с кем они рядом оказались. Тварь рвала пространство рывками, как будто не двигалась, а переставлялась: вот она там — вот уже здесь, и между этими двумя точками нет траектории, есть только результат. Хвост ударил по грузовику — машина сложилась и отлетела метров на двадцать, как пустая жестянка. Коготь прошёл по бетонной стене — стена вскрылась, как консервная банка.

Кто-то орал запрос на авиацию. Кто-то — на вертолёт. Кто-то уже просил ракетный удар по квадрату. Кто-то просто орал. Без слов. Потому что слов на такой пиздец у человека не остаётся.

А я рванул к Серёге.

Нашёл его не сразу. Он лежал метрах в десяти от вырванных ворот, у того самого бетонного выступа, не двигался, но был жив — я увидел это по руке, которая чуть сжалась, когда я схватил его за разгрузку. Потасил назад, одновременно стреляя в тварь короткими очередями.

Это было бессмысленно.

Но рукам нужен был хоть какой-то смысл.

Дракон повернул голову в нашу сторону. Медленно — как разворачивается башня танка, когда уже нашла цель и никуда не торопится. Гребень вдоль шеи встал дыбом. Пасть приоткрылась.

И он дал по нам струёй огня.

Не прямым попаданием — мазнул краем. Волна жара прошла так близко, что воздух в лёгких будто высох за один вдох. Меня швырнуло в сторону. Я прокатился по камню, ободрал руки о щебень и встал почти сразу. Серёги больше не было видно — его закрыли дым, пламя и перевёрнутая машина.

Кругом уже шла чистая вакханалия.

Кто-то бежал. Кто-то палил. Кто-то горел. В воздухе стоял запах гари, металла, крови, расплавленной изоляции и той особой дряни, которая появляется только там, где техника, огонь и живые люди вдруг перемешиваются в одно.

Справа, у грузовой площадки, стоял пикап с ЗУ в кузове. Живой. Ещё живой.

Я рванул к нему, влетел в кузов, сорвал предохранение и дал по твари длинной очередью.

ЗУ заговорила так, что у меня внутри всё отозвалось — зубы, рёбра, позвоночник. Очередь полоснула по шее, по плечу, по боку. Дракон дёрнулся. Не от боли — от раздражения, как лошадь дёргается от осы. Но этого хватило, чтобы он на секунду повернулся ко мне, а не к людям внизу.

Я бил, пока не начал понимать рисунок.

Не уязвимость — нет. Но логику движения. Как он прикрывает горло. Как дёргает шеей перед броском. Как разворачивает корпус — всегда с небольшим опережением вправо, будто левая сторона чуть менее подвижна. Всё это было одновременно звериным и каким-то слишком расчётливым. Как будто передо мной был не просто зверь, а механизм, которому зачем-то выдали плоть.

Потом боекомплект кончился.

Я спрыгнул, рванул к другой машине и полез внутрь. Под сиденьем — РПГ.

Руки работали быстрее головы.

Пока я заряжал, вокруг всё окончательно слетело с катушек. Кто-то просил эвакуацию трёхсотых. Кто-то матерился так, будто этим можно остановить конец света. Дракон метался среди огня и металла, добывая всё, что ещё двигалось, — спокойно, методично, как инженер, устраняющий неисправности на объекте.

Когда я выпрямился с гранатомётом, он уже был рядом.

Слишком рядом.

Он опустил голову почти к самой земле и открыл пасть.

Время в такие секунды действительно замедляется. Не как в дешёвом кино — просто успеваешь увидеть больше, чем должен. Чёрный блеск глаз: без зрачка, без белка, просто чёрное, как провал. Свет внутри глотки — нарастающий, пульсирующий, живой. Дрожь воздуха перед огнём, ту самую вибрацию, которую кожа чувствует раньше глаз. Кровь у себя на рукаве. Камень под ботинком. Пальцы на трубе РПГ — будто чужие и при этом абсолютно точные.

Я вскинул гранатомёт.

Прицелился ему прямо в пасть.

И выстрелил.

В ту же секунду он ударил в меня пламенем.

Грохнуло так, что мир разлетелся на белую вспышку, огонь и пустоту.

А потом подо мной исчез мир, и я полетел в такую темноту, для которой у человека не придумано ни одного правильного слова.

Глава 3

Я падал долго.

Слишком долго для любого нормального падения.

Сначала мне казалось, что это остаток удара — посмертная инерция сознания, которое ещё не успело понять, что его больше нет. Потом стало ясно: тела нет. Нет воздуха в лёгких. Нет тяжести рук, спины, ног. Нет даже боли. И всё равно оставалось ощущение, что я лечу вниз именно спиной, будто где-то в этой бесконечной тьме ещё существуют верх и низ, и я медленно проваливаюсь туда, где их уже быть не должно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.